СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛЬСКИЕ ПОВЕСТИ

II

Эрнест Брылль
Тетка

OCR Busya
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=161779
Современные польские повести. Том II: Художественная литература; Москва; 1974

Аннотация

В психологическо-аналитической повести «Тетка», писатель затронул большую и сложную тему – ход послевоенной земельной реформы в польской деревне. Бывший помещик Бачевский стал сержантом Войска Польского, сторонником народной власти, погиб от бандитской пули. Его сестра Эмилия, старая хозяйка Бачева, «Тетка» – воплощение «классических» шляхетских пороков: высокомерия, деспотизма, эгоизма, ограниченности. Она пытается бороться за сохранение своего исключительного положения в деревне. Привязанность к брату побуждает «Тетку» истолковывать его действия как позволительную для представителя древнего рода шляхетскую фанаберию. Лишь тогда, когда иллюзия, за которую она цеплялась, рассеялась, «Тетка» признала себя побежденной, но поражения пережить не смогла…

Содержание

I 4
II 17
III 31
Конец ознакомительного фрагмента. 39

Эрнест Брылль
Тетка

I

Она просто не замечала меня. Впрочем, так же мгновенно лишалась она зрения при виде любого члена семейства Зарембов, с которым нежданно-негаданно в один из зимних вечеров породнился ее брат, более того – наследник. Тогда я и увидел впервые бачевскую помещицу. Четырнадцатилетний мальчишка, я, стоя у занесенной снегом калитки нашего дома (позже его окрестили усадьбой), напряженно всматривался в даль – туда, где обычно, если воздух был чист и прозрачен, торчала башенка деревянной часовни и откуда должны были вот-вот появиться сани, везущие соединенных священными узами сестру мою и ее барина-мужа.

Об этом барстве любил распространяться мой отец. Ради него он и велел потом с таким почтеньем выражаться о нашем старом доме, ради него расшвырял далеко от сада весь навоз, горой возвышавшийся – как обычно в деревне – у стены хлева, и тщательно закрасил дощатую стену, чтоб и следов никаких не осталось. Тогда же мы перестали сажать мальвы под окнами. Хоть цветы эти исконно польские, – рассуждал отец, доказывая матери необходимость такой меры, –

и даже зятю вполне приличествуют, ведь он по окончании войны наверняка в уланы пойдет, однако уж очень они простецкие.

Увы, розы, доставленные за пару откормленных гусей из далекой Прирейнской области, не пожелали обвить потемневший сруб нашей избы, а после первой же зимы – у нас называли ее русской – их веточки вконец почернели. Когда весной мы сняли с роз соломенные прикрытия, которые должны были охранить их от лютой, исключительно для немецких войск предназначенной, зимы, то уж нечего было и мечтать о зеленых листочках. Пришлось, пережив утрату двух подаренных фельдфебелю с Рейна гусей, остаться при мальвах да при «усадьбе» – название это подтверждалось лишь старыми бумагами, которые отец выгреб с чердака.

Нет, бумаги те не были фальшивыми. Мать моя, тоже умиравшая после «русской зимы», не пережившая трудный год кары божьей, родом была из мелкой шляхты. Есть ли еще шляхетские усадебки в Подлясье? Дома там ставят не как в обычной деревне, а поодаль от дороги. И всегда, словно ограждая их от придорожной пыли (в голубой цвет, как в деревне, дома там не красят), у въезда высятся ворота, а за ними – садовая аллейка. В шляхетских деревнях принято также сажать лиственницы – мода, крестьянским дворам неведомая.

У нас лиственницы тоже не прижились. Когда, уже настолько повзрослевший, чтоб осознать, более того, вознена-

видеть смехотворную амбицию отца, я с удовольствием наблюдал, как зеленые спервоначалу саженцы этих нежных деревцев еще быстрее, чем прирейнские розы, желтеют, ржавеют, а потом приобретают цвет, смердящий гнилью, – садовые неудачи отца воедино связывались в моем сознании с прочими невзгодами нашего семейства, судорожно цеплявшегося за поношенное шляхетство моей матери.

И если б я тогда имел право голоса, – увы, такие, как я, этого права не имели в нашем оседавшем в песок доме, если б не уверенность, что во время обильного застолья, когда отец, угощая соседей по случаю убоя свиней, перед тем как подать последнюю бутылку вишневки (самогона у нас не пили), переходил от разговоров о деньгах к бредням о шляхетстве и лекциям о гербах, так вот, если б не уверенность, что никто за тем столом и внимания не обратит на мои слова, – я б не преминул напомнить ему семинарские, а если грубее – поповские его штучки. Почему – трудно сказать, но все худшее, что в нем есть, все самое отвратительное восходит еще к тем временам, когда он продавливал благочестивыми своими коленями скамеечки для моления в часовне.

То, как он поджимал губы, широта его жестов – все изобличало в нем несостоявшегося ксендза. Словно бы преданная им некогда в порыве слишком поспешной отваги духовная семинария с ее ледяной атмосферой, семинария, обучающая человека необходимости притворного смирения, настигла его тут, мстя за давнее непослушанию приступом сме-

шившего всех нас, почти ребяческого в своей безграничной наивности высокомерия.

Впрочем, даже тогда, решившись прервать так превосходно начатую в марианском братстве карьеру, он не отважился смело броситься прямо в бурные волны, – как он выразился, – сплетен, травли и досужих вымыслов. Пожелав плыть, он, однако, выбрал безопасный пруд, где легко можно достать ногами, коснуться пальцами спасительно близкого дна.

Так мать моя стала униатской попадьей. Мне она никогда не говорила, зачем согласилась на это. В беседах наших, – обычно мы вели их вечерами, оба больные и одинокие в этом душном доме, – мы деликатно обходили все, что могло бы напомнить тот день, когда насмерть перепуганный собственной независимостью, уже опомнившийся, – вернее, пожалуй, не определишь чувство его растущего страха перед местью костела, – отец узнал, а может, предусмотрел, какие заботы выпадут на долю нового старосты местечка, расположенного на границе Волыни и полесских болот, уже собирающегося в дальний путь, чтобы занять свою должность. А если я, возбужденный, отупевший от постоянных скачков температуры, забывался настолько, что отваживался задать матери вопрос: «Как ты могла смириться с такой внезапной переменой в образе жизни близкого человека?» – она, снова обходя эту опасную мель в лениво текущем потоке наших вечерних бесед, односложно отвечала: «Да ведь и десяти лет это не длилось».

«Выходит, она все еще любит его, – думал я. – А может, он вовсе не такой, каким мне представляется?» И, даже обрадованный тактичностью матери, я никогда больше не выспрашивал ее о жизни отца на полесско-волынском пограничье. Впрочем, все достойное внимания я и так знал. Достаточно было заглянуть в скрываемый со времен увлечения шляхетством толстый альбом фотографий. На них рядом с благодетелем – старостой, разрешившим женатому человеку выполнять обязанности священника, восседал мой отец – бородатый, с большим крестом в складках сутаны на животе.

– Только и требовалось бороду отрастить. А так – все то же самое – и служба, и верность тому же папе. Борода, только борода, рост у меня, к счастью, вполне белорусский оказался, – посмеивался отец, описывая широкую дугу вокруг своих чисто выбритых теперь щек.

Итак, он был белорусом, верным Польше и папе Римскому. Перед старостой маленького местечка, гниющего от подступивших к самым домам болот, несомненно открывалась блистательная карьера. Уже сама фигура его, облаченная в сероватую, ни дать ни взять легионерскую куртку, наклон головы – вылитый Пилсудский, – все это, конечно же, предопределяло, что его место не рядом с избежавшими неприятностей попами и не с тупым капитаном местного пехотного отряда, а в канцеляриях высочайших государственных учреждений. Воскресить униатские традиции. Припомнить все наиблагороднейшее, что было в религиозном движении со-

противления стоявших на болотах деревенек и обратить это на пользу своей карьере – до чего же соответствовала этим устремлениям фигура моего окладистобородого родителя: и свойский-то он, и здешний, и старосте предан, и Варшаве.

– Многие приходили ко мне без всякого принуждения, – заверял отец. – Это очень поощрялось, к тому же я убеждал их, что они нисколько не отступают от своей веры. Я даже любил их, – он обдал меня сладким запахом домашней наливки, – этих тихих людей, пчел… болота…

– И комаров тоже? – спросил я без всякого, впрочем, намерения съязвить, и единственный, пожалуй, за всю мою жизнь разговор о тех временах завершился звонкой пощечиной.

* * *

Дозволенный этап отцовских деяний начинается от памятного сентября, когда он, не имея, правда, понятия, как выглядит немецкий солдат, но зато прекрасно сознавая, что грозит ему, если подтвердится весть о переходе немцами восточной границы, вслед за своим опекуном удрал на запад – все равно куда, лишь бы на запад.

Потом пришло время возненавидеть немцев, позабыв при этом, как выглядела первая радостная встреча. А выглядела она так: пробираясь на груженой телеге окольными путями от перелеска, отец вдруг осадил лошадь перед замас-

кированным немецким мотоциклом. Я даже допускаю, что радость, искренняя радость при виде (уже знакомого по сентябрьским радиопередачам) сукна цвета feldgrau[1] спасла ему жизнь, зависящую от мановения пальца обрадованных неожиданным развлечением солдат.

Кто знает, не тогда ли мать моя подумала о нем то, что позже я прочел – написанное мелкими буковками – на полях ее молитвенника. За цветной картинкой, вложенной между литанией всем святым и утренними молитвами, рукою лежащей теперь в могиле женщины было написано: «О боже, зачем ты дал мне в мужья паяца».

И хотя мне памятны многие сцены, достойные такой именно реакции, я твердо уверен, что слова эти написаны во время первой молитвы в нашем новом доме. Потому что, насколько я помню, во время войны она не пользовалась этим служебником. Лишь случай, распоряжение Тетки – она решилась все же приехать на похороны и возглавила батальон плакальщиц, оккупировавших большую комнату нашего дома, – приказ ее, который вытащил меня из моего убежища на чердаке и бросил на поиски «чего-нибудь такого, что не стыдно было бы вложить в руки покойнице», позволил свершиться этому открытию. За притворенной дверью большой комнаты шумели, сливаясь в один бормочущий поток, ручейки литании по умершим; между одним «вечный покой дай ей, боже», и другим, слыша, как клянут порядки в доме,

---

[1] Защитный *(нем.)*.

где и громницы не сыщешь, и невзирая на опасность быть захваченным врасплох, я раз за разом повторял написанную на полях фразу о моем отце.

За этим занятием и застала меня Тетка. Еще прежде чем она притворила за собой дверь, я уже знал: сейчас она вырвет у меня из рук книжечку в черном переплете и увидит то, что я предпочел бы скрыть от ее проницательного взгляда. И потому на вопрос – что там у тебя – я послушно протянул ей раскрытый молитвенник.

– О, выходит, она была не столь уж глупа, – произнесла Тетка и, словно только сейчас заметив мою особу, сказала: – Ну, беги, беги на свой чердак. – И добавила сама себе: – Этот молитвенник должен с ней в землю уйти.

На чердаке, среди легкой паутины и шороха мышей, обитающих в залежах старого хлама, я стал припоминать нашу первую встречу с немцами. Да, мать, без сомнения, ее имела в виду, вынося приговор своему супружеству в маленьком молитвеннике. Я вызывал в памяти каждый шаг отца, каждый радостный его поклон – он извертелся весь перед неподвижно стоявшими солдатами, опасаясь, как бы его поклоны не расценили как попытку к бегству, разводил руками – пусто, мол, оружия нет. Сутана, несколькими взмахами ножниц наспех перекроенная в длиннополый сюртук и застегивающаяся, как у ксендза, на стайку маленьких пуговичек, морщилась на его потной спине; а ниже виднелись штаны – потешные штаны бывшего попа, верхняя их часть

из зеленоватого в рыжую полоску (под сутаной не заметно) куска еврейского сукна… Наконец, решившись более явно продемонстрировать свое смирение, отец вдруг с отчаянием прыгнул прямо в автоматную пасть.

Этот внезапный прилив храбрости мог стоить ему жизни – один из солдат отпрянул, вскинув кверху дуло, но отец уже припал к руке старшего по чину среди тройки мотоциклистов (не знаю уж, как ему удалось разобраться тогда в немецких знаках различия) и, смиренно целуя ее, захныкал: «Ich in Russe kranken, nicht Kommuniste, nicht»,[2] описывая уже знакомым мне жестом дугу у выбритого своего подбородка – впрочем, теперь это означало всего лишь, что там, «in Wolynien, Polesien», он бежал прямо из петли палача.

Впрочем, своего он добился. Уже через два дня после этих памятных событий, окончательно подорвавших наивную веру моей матери если не в благородство, то уж, во всяком случае, в смелость человека, называвшегося ее мужем, мы получили во владение новое хозяйство в Мазовше.

Теперь можно было и патриотом стать. Спустя два месяца после получения «отчины» – так назывался наш дом до того, как его нарекли усадьбой, – отец мой начал собирать жителей деревни на польские богослужения. В конце одной такой службы он даже решился затянуть известную и популярную в то время молитву к всевышнему, прося его удостоить эту страну милостивого своего благословения. Несмотря

---

[2] «Я в России болел, не коммунист, нет» (искаж. *нем.).*

на подобные религиозные манифестации, нам сурово было запрещено даже заикаться кому бы то ни было о папашином белорусско-церковном прошлом. Да, он был там, служил, но право рассказывать о той роли, какую вынужден был играть на далеких болотах и песках, оставлял только за собой.

Итак, он не был трусом. После смерти деда, когда «отчина» полностью перешла в его собственность, в доме нашем нередко находили ночлег люди, говорившие вовсе не с мазовецким, а с иным, городским акцентом. Они во время кратких своих визитов сумели убедить отца в том, что высокие сапоги, которые он до сих пор презирал, считая неотъемлемой принадлежностью крестьянина, есть признак барского происхождения.

В нашей кладовой теперь время от времени появлялись французские консервы, добытые с направляющихся на восток немецких транспортов. За домом, вблизи хлева и навозной кучи, был выкопан глубокий ров, потайным ходом соединенный с овином. На случай, если бы внезапно нагрянули немцы. К счастью, отцу не пришлось воспользоваться этим рвом. Единственный, кто укрывался там в течение двух ночей, когда кружили слухи, что патрули якобы прочесывают окрестные леса, был будущий муж моей сестры.

Мне он нравился, хотя именно в его честь перекрестили наш старый дом и есть мы стали в большой комнате. Кто знает, возможно, мы с мамой, догорающей уже тогда от чахотки, больше любили его, чем его будущая жена (не упускав-

шая случая напомнить, что ей всего года не хватило до аттестата зрелости, «и, кабы не эта война и не ужасная оккупация, быть бы ей сейчас секретаршей воеводы»), девица, ловко запоминавшая ультрапатриотические цитаты из Мицкевича или Словацкого, чтобы ввернуть их в разговорах на высокие темы.

Теперь я думаю, что наша к нему симпатия была основана на уверенности, что как мы не имеем ничего общего с теми, кто управляет нашей «усадебкой», так и он чувствовал себя чужим в своем доме, который держала в «ротмистровских», как он выражался, руках его старшая сестра.

Кроме чувства симпатии, память моя мало что сохранила о нем. Я даже ке могу явственно припомнить тогдашние его движения, манеру поведения. Фотографии, которыми густо увешаны стены Теткиного кабинета, не имеют ничего общего с юношей, который бывал в нашем доме. На этих фотографиях он слозно бы преобразился под ее упорным взглядом в благовоспитанного, немного меланхоличного, золотоволосого барчука. Словно мифом были все его дела и все принятые им решения, начиная от венчания с моей сестрой, – ведь он прекрасно понимал, что оберегающая чистоту генеалогического древа бачевская помещица сделает все, чтобы не допустить до свадьбы, – и кончая главным в его жизни решением, которое он несколько лет спустя вынужден был принять под дулами винтовок во время единственного, пожалуй, в стране, весьма странного раздела помещичьей зем-

ли, какой имел место в Бачеве.

Вот так. Бачевская помещица не намерена была мириться с крестьянскими, или – как их называли в гостиной, вспоминая наиболее оригинальные подвиги предков, – с «хамскими склонностями» своего брата. Уж если, по ее собственному утверждению, она решилась нести на себе тяжкий крест стародевичества, то не ради того, чтобы земля, помещичья земля, искони им принадлежавшая, пошла под крестьянский лемех. Такой вот, проклинающей хамов, я и увидел Тетку впервые, когда в санях с неподкованными полозьями, да к тому же по иронии судьбы деревенских, она мчалась по припорошенной снегом дороге к часовне.

Сперва, немного уже озябший от стояния у калитки, я услышал нежный перезвон колокольцев, возвещающий о скором прибытии свадебного кортежа. Заглядевшись в ту сторону, откуда вот-вот должны были вынырнуть из молочно-белой пелены пышущие паром кони, я чуть не попал под копыта ошалевших от ударов кнута Теткиных рысаков. В последнюю минуту кучер, уже не видя, а лишь чуя опасность, резко осадил коней; маленькие, неприспособленные к такому галопу крестьянские санки заскребли неподкованными полозьями, накренились, – я мог бы поклясться, что услышал басовитый Теткин голос: «Под пах стегани их, Константы, под пах», – и, взметая комья мерзлой земли, исчезли в снежной белизне, там, где я высматривал свадебный кортеж.

Не понимая еще, что случилось, чем вызван этот внезап-

ный галоп, я поднялся и, встав на корточки у вырытой полозьями колеи, подивился ее глубине – сквозь рассеченный полозьями лед виднелись смерзшиеся пласты ноябрьской грязи.

II

Тетка, возлежавшая на старой софе в Охотничьем Домике – единственном уцелевшем от артиллерийских снарядов свидетеле давнего великолепия Бачева, – снова напоминала ту женщину, которую я увидел спустя полчаса после бешеного галопа.

Еще не успев доехать до деревянного домика станции Бачев, я уже знал, почему усадьбе грозит «опасность». О том, что стряслось несколько дней назад в приусадебном парке, было уже широко известно. Меня даже удивило, что этим до сих пор не заинтересовались «соответствующие инстанции». Впрочем, это лишь доказывало, какое магическое влияние имела Тетка на представителей местных властей. С того года, верней, с той минуты, когда она заняла и отремонтировала заброшенный Охотничий Домик и, превращая его в подобие особняка, стала возрождать значение бачевской усадьбы, минуло уже много времени, богатого разного рода процессами и травлей, но каждый раз победа оставалась за Теткой.

Она сумела покорить враждебную ей власть мнимой уступчивостью, скрупулезным выполнением всяческих возложенных на нее обязанностей. И теперь снова, после десяти с лишним лет незаметного существования, могла позволить себе подъехать к костелу в двуконном открытом экипаже, и во время богослужения опуститься на колени у по-

четной скамьи, которую все обходили стороной. Многочисленные выигранные ею процессы в конце концов убедили ее ненавистников (а во всей округе не нашлось бы, пожалуй, никого, кто симпатизировал бы Охотничьему Домику), что становиться помещице поперек дороги не стоит. Потому и удалось Тетке спокойно выкопать яму в приусадебном парке и среди бела дня добыть оттуда окованный дубовый сундук. Раз помещица копает среди бела дня, значит, закон, хоть вроде бы ей и противодействующий, все же, как обычно, на ее стороне. Добиться своего можно только силой.

– Понимаешь, вошли без спроса. Не стали дожидаться, пока я приглашу их сесть. – Тетка, с трудом приподнявшись на кушетке, показала на пол, словно там еще виднелось грязное клеймо, черный, как бы выжженный подкованным мужицким сапогом след, оскорбляющий усадьбу и память всего рода Бачевских.

Я понимающе кивнул головой. Как-никак упорство этой старой женщины, несмотря на всю его бессмысленность, заслуживало крупицы уважения.

Итак, она была захвачена врасплох неожиданным громким топотом сапог в гостиной. Но то, что они сочли своей победой – «пани помещица с перепугу нас ужином угостила», – свидетельствовало лишь о Теткином самообладании.

– Я сказала им, что сейчас велю чаю подать. Понимаешь, – зашлась она сухим кашлем, – мне как-то неясно было, не захотят ли они силой открыть ларь. Он вот тут стоял, – она

показала на угол между софой и часами, – мы даже не успели его ковриком прикрыть. Но пусть бы только попробовали, – она подняла кверху старческий кулак, – уж я бы им показала, где раки зимуют.

И чай был выдуман для того лишь, чтобы, выбежав на кухню, вытащить из буфета спрятанный там под полотенцами старый, уже знакомый мне короткоствольный пистолет. Всякий раз, когда Бачеву грозила опасность, Тетка рылась в пропитанном ароматом яблок белье, а потом, взведя курок, перекладывала эту музейную, но еще способную ранить древность куда-нибудь поближе, чтобы «под рукой был».

Пользование пистолетом и даже одно намерение им воспользоваться всегда кончалось одинаково: апоплексическим ударом. Так было и в тот раз, когда она впервые решилась с оружием в руках встать между своим братом и его будущей женой. В дом наш ее привезли уже без сознания, с посиневшим, как у утопленника, лицом. Словно наказанная богом за свою гордыню, она вынуждена была оставаться в ненавистном ей доме до самого конца весны. Вызванные братом врачи со всех сторон простукивали ее и твердили в один голос: любая попытка сдвинуть с места это медленно возвращающееся к жизни тело может кончиться полным параличом.

Сидя у ее постели и отвечая на несложные вопросы, которые она задавала мне, – то ли чтоб услышать хоть какой-нибудь ответ, то ли прощупывая, насколько я понятлив, – я не раз вспоминал сцену, когда ошалелые сани остановились у

часовни, а она с заряженным пистолетом в руке ворвалась через боковые двери вовнутрь и тут же, не успев сделать и шага, крикнула, встав над коленопреклоненной парой:

– Не позволю! Отменяю венчанье. Развод немедля.

– В римско-католической религии нет разводов, – загремело с амвона, и тут только бачевская помещица заметила, что обряд венчанья свершает приходский ксендз того костела, где с незапамятных времен стояла почетная скамья ее предков.

– А вас, ксендз, что сюда принесло? – крикнула ока и вот тут-то, как потом рассказывали, шагнула вперед и нацелилась из мушкета прямо в ксендза, заслонившего собою ковчег со святыми дарами.

Узнав поближе ксендза Станиславского, я твердо понял, что он ни под каким видом не отказался бы от только что свершенного им обряда. Добродушный, с животом, как бы созданным для неустанных сборов пожертвований, он всем своим тучным телом загородил маленький алтарь, оставшийся в нашей часовенке со времени сентябрьской кампании, когда здесь два дня квартировал конный артиллерийский полк. Молодые так и застыли на коленях. И в ту секунду, когда, казалось, лишь гром выстрела может прервать зловещую неподвижность этой сцены, у главного входа раздался вдруг крик:

– Она осквернит костел!

Старый костельный сторож, спотыкаясь второпях, схва-

тил судорожно вытянутую руку помещицы.

– Немедленно брось оружие, Эмилька, – крикнул, придя в себя жених. Но Тетка, костенея от наплыва злости, не обращая внимания ни на сторожа, дергающего ее за руку, ни на окрик брата, кричала так, словно они с ксендзом договорились встретиться в этой часовне, чтобы свести наконец старые счеты:

– Ваше место, ксендз, в Бачеве. Я обеспечиваю эту вашу римскую независимость…

– Но позвольте, сударыня, – пытался утихомирить ее толстяк, навалившись на алтарь, – это как-никак дом божий…

– Я содержу дом божий. Я, бачевская помещица. И я не позволю, – тут голос Тетки перешел в шепот, – не позволю Бачевскому брать в жены первую встречную.

– Она из гербовых, – вскинулся вдруг мой отец. – Шляхтянка… в своей усадьбе… – ненависть к этой женщине, обнажающей позор его «хамского происхождения» (с трудом скрытый мелкопоместным шляхетством жены), не позволила ему даже закончить любимую поговорку.[3]

– Видали мы таких гербовых, у нас их сотни в услужении, – отрезала Тетка, и тут ксендз Станиславский как раз и произнес то, что мгновенно вызвало у Тетки апоплексический удар.

Сперва, с трудом выудив у костельного сторожа, что там сказано было «о гербе Бачевских, о Ястшембце каком-то

---

[3] «В своей усадьбе и шляхтич – воевода».

подпорченном, с пятнышком», я подумал было, что сторож присочинил – с него станется. И лишь спустя несколько лет понял, почему один лишь намек на сомнительность происхождения потряс Тетку больше, чем вид коленопреклоненного, идущего под венец брата.

Впрочем, объяснила мне это сама бачевская барыня. И присовокупила фантастическую историю о королевском происхождении одного из внебрачных сыновей какого-то старосты, жившего в восемнадцатом веке. Но от моей беспощадной мальчишеской проницательности не мог укрыться сам факт незаконного происхождения основателей Теткиного рода.

– А ведь таким вот побочным сыновьям тогда давались гербы с пятнышком, – изрек я, выслушав эту путаную историю, и тут впервые услышал от нее, что «натура у меня все же хамская».

Впрочем, случай этот не нарушил нашей растущей симпатии. Напротив, словно бы укрепил ее. Тетка постепенно смирилась со своей участью. Лицо ее уже не было таким кошмарно синим, как в тот день, когда ее мигом доставили к нам – к ближайшим родственникам, ведь мы вопреки ее воле все же породнились. Постепенно приходя в сознание, Тетка внимательно разглядывала нашу темную мебель… Два дня она прикидывалась, что дар речи еще не вернулся К ней. (Я подсмотрел, как, уверенная в том, что ее никто не видит, она шептала какие-то молитвы.) Вероятно, ей хотелось под

прикрытием болезни спокойно обдумать столь противоестественную для нее ситуацию.

Мы знакомились все ближе. На седьмой день после происшествия мать моя, вероятно, рассчитывая, что калека, грустным своим видом вызову в парализованной родственнице чувство сострадания, послала меня к ней с большой охапкой срезанных утром еловых веток. Я осторожно приотворил двери и, убежденный в том, что Тетка спит и мне не придется долго лицезреть ее страшное лицо, быстро сунул ветки в большую вазу, стоящую в углу затемненной комнаты.

Я уже собрался было уходить, когда со стороны скрытой в тени Теткиной кровати донеслось нечто вроде храпа или скуления. Голос этот – мысленно я сразу же связал его с отекшим лицом, которое предстало глазам моим в полосе света, падавшего из открытых дверей нашего дома, когда туда вносили безжизненное тело, – голос этот испугал меня, но и заставил подойти к самому краю широкой кровати. Тетка продолжала что-то бормотать. Я зажег маленькую керосиновую лампу и в тусклом ее свете увидел Теткино лицо – совсем другое, спокойное, полное достоинства, хотя еще со следами недавней отечности. Вероятно, тогда я и полюбил бачевскую барыню. Любовью особенной – калеки к калеке…

Нет, увечной она не была, но в ее поведении, несмотря на упрямство, крылась за наглостью какая-то застенчивость – черта, которую я, горбун, выросший в деревенском семействе с его жестокими нравами, очень хорошо умею распо-

знать и оценить. Она была калекой – еще более я уверен в этом сейчас, после ее смерти. И так же как увечные девушки порой привязываются к детям своих сестер, любят их больше, чем родная мать, так и она опекала своего брата. То была столь знакомая мне горькая любовь человека, который хорошо понимает, что он любит не так, как все, жаждет привязанности, но при этом сознает, как мало у него права на такую любовь, и в конце концов, вымолив себе самую несчастную судьбу, остается в одиночестве.

Когда я поднес керосиновую лампу к изголовью кровати, Тетка медленно повела глазами. Я понял: она велит мне сесть у ее неподвижного еще тела, – и, повинуясь ее требованию, верней, интуитивно почувствовав, чего она хочет от меня, я взял в свои пылающие ладони ее мертвую руку. Потом, тоже предугадав следующее требование, я поднял ее руку и пальцами, – лишь они, вероятно, хоть немного сохранили чувствительность на этом парализованном болезнью теле, – коснулся своего лица.

Тетка улыбнулась, верней, то было лишь подобие улыбки, даже кончики губ не дрогнули. Я поцеловал ее руку, а потом, осторожно положив на простыню этот, хоть и оживленный искрой чувства, но все же еще предмет, тихо выскользнул за дверь.

Так выглядела важнейшая наша встреча. Позднее она ни разу – даже когда мы вместе переживали последние дни бачевской усадьбы – не позволяла мне такой, граничащей с фа-

мильярностью, сердечности. Мне было известно – она ведь не преминула огласить это, – что по завещанию я один из немногих ее наследников, но – словно бы именно. этот дар, долженствующий усладить мне момент ее погребения, делил нас на того, кто удостаивает жертвы, и того, кто эту жертву принимает, – мне даже не разрешалось входить без доклада в восстановленное из руин крыло дома, ставшее временной ее резиденцией. И звал я ее «Теткой», хотя это не соответствовало истинному нашему родству. «Тетка» – достаточно близко, чтобы избежать ненужной сухости в наших беседах, но и достаточно далеко, так что я никогда не забывал о своем положении почти нахлебника в доме.

И к сестре моей она относилась примерно так же, а может, и того хуже. Тетка умела с такой интонацией произносить самые любезные фразы, что они тут же определяли соответствующую дистанцию. Сестра моя – любопытно, что именно за это я ее возненавидел, – после каждого разговора с владелицей Бачева и после того как нам с ней были предоставлены «апартаменты», со злостью глядя на утварь этого дома, преданную бачевской барыне старосветской чопорностью покрытого золотистой политурой дерева и обветшавшей обивки, – разражалась непристойной бранью. Она не чувствовала себя хозяйкой в этом Доме. А я, хотя и должен был бы желать ей добра, втайне этому радовался. Они с отцом были тут чужаками. Нелепыми со своими претензиями, с требованием предоставить им самое почетное место на рез-

ной скамье.

Впрочем, отец оказался более верным своим извечным стремлениям. А может, не таким ловким, как сестра (слишком уж стар он был, чтоб быстро смекнуть, сколь сомнительными становятся шансы бачевской усадьбы и ее владельца). Так или иначе, отец не осмелился покинуть Тетку и после смерти моей матери уже навсегда обосновался в этом доме с его обстановкой, сам уподобившись не то мебели, не то прирученному животному.

И вот теперь, размахивая своими толстыми, как и подобает попу, ручками, он, волнуясь, рассказывал, как три дня тому назад они с Теткой решили наконец выкопать клад под старым ясенем у барского особняка. Он еще считал это «кладом». Думаю, если б не растущий с годами панический страх перёд Теткиной силой, он, не мешкая, подобрал бы ключик к старому заржавелому замку, на который еще и здесь, в гостиной, заперт был огромный сундук.

Клад. Подобно моему отцу, все окрест убеждены были в неизмеримой ценности густо просмоленного сундука. Те, кто помоложе, рассказывали, будто он доверху набит бумажными долларами, другие, наслышавшись старых легенд, болтали об огромных – с тарелку – золотых дукатах, «которыми Бачевские набивали сундуки еще со времен барщины».

– Дукаты с тарелку, – хихикала довольная Тетка. – Ну, так пусть себе отбирают эти «крепостные дукаты»…

Упоминание о барщине, восходящее, по всей вероятно-

сти, к проповедям ксендза Станиславского, особенно ее радовало. И если б я знал тогда, чем кончится вся эта заваруха, может, в ином свете видя все Теткины действия, я сумел бы уловить в самом зародыше овладевающее ею безумие. Потому что с Теткой творилось что-то неладное. С виду спокойная и, как обычно, полная достоинства, она, заслышав очередную версию о кладе, разражалась ранее мне незнакомым, визгливым хохотом. Словно бы кзаблуждение деревни относительно ценности выкопанного сундука стало местью Тетки и за отобранную усадьбу, и за смерть молодого бачевского помещика, связанную как-никак с актом реформы.

Не успел я, приехав, смахнуть пыль с сапог, как Тетка постучалась ко мне и с каким-то несвойственным ей нетерпеньем велела тотчас следовать за ней в гостиную.

Тут бы мне и призадуматься. Не удивляться надо было этой необычной для нее бесцеремонности, а понять, что женщина, которая ведет меня в гостиную по длинному коридору, осторожно ступая при этом, словно опасаясь малейшим шорохом спугнуть мнимых воров, – эта женщина совсем уже не та, какую я оставил после трагической гибели ее брата.

Но я шел за ней. Послушный, как всегда. Тетка, шикая и крадясь самым нелепым образом, наклонилась вдруг и, прежде чем переступить порог гостиной, осторожно заглянула вовнутрь. Впервые, с тех пор как я знал ее, она выглядела комически. В одних чулках, в левой руке судорожно сжаты снятые, чтоб заглушить шаги, башмаки, в правой, подня-

той кверху, – тяжелый подсвечник. Когда пламя свечи осветило дверь, я понял, что бачевская помещица пристально вглядывается в щель, образованную осколком шрапнели в двери, которая некогда вела в людскую, а теперь – в гостиную.

– Сбежали, – со злостью констатировала она. – А я думала, что мы наконец их поймаем. Вместе с твоим папусенькой. Думаешь, я не вижу, как он, что ни день, к замку крадется? Вчера волос прилепила… И вот, пожалуйста, сорван. Уж очень им хочется знать, сколько этих самых дукатов Бачевские в сундуке заперли.

Я устремился за ней, как в тумане. Не перестань она – убедившись, что никаких врагов здесь нет, – со злостью посматривать на мои скрипящие в тишине коридора башмаки, я бы покорно снял их, чтоб, уподобясь ей, в одних носках красться в гостиную к стоявшему там сундуку. Тетка стремительно отворила дверь и, перепрыгнув через порог, махнула подсвечником в ту сторону, где чернела глубокая, наполовину закрытая шкафом ниша в стене.

– Пусто, – разочарованно протянула она, и в ту же минуту, еще прежде чем погасло задутое сквозняком пламя свечи, я услышал ее крик – такой пронзительный, будто в окне, с треском распахнувшемся от порыва ветра, снова вдруг, как несколько лет назад, показалась голова крестьянина, возвестившего о гибели помещика.

– Свет! Быстрее свет! – вне себя кричала Тетка, в то вре-

мя как я, проклиная собственную неловкость, одну за другой терял и ломал не желающие загораться спички. Наконец, держа в сложенных на манер раковины ладонях одну-единственную спичку, которую мне посчастливилось зажечь, я осторожно двинулся туда, где, как мне казалось, должна была находиться бачевская барыня. Под ногу мне подкатился какой-то предмет, я поднял его – оловянный подсвечник со свечой, и, к счастью, не поврежденной. Теперь, вооруженный наконец тусклым, колеблющимся над стеариновым кружочком светом, я стал высматривать фигуру одетой в черное женщины. Свет свечи раз-другой скользнул по стенам, покрытым вылинявшими обоями; и лишь когда я – уже уверенный в том, что Тетка каким-то необъяснимым образом сумела выбежать из комнаты и скрывается в коридоре, – поспешил к дверям, то увидел в затененной нише ее побелевшее испуганное лицо. Она плакала, но плакала так тихо, словно бы никто, даже я, стоявший совсем рядом, стиснув в руке подсвечник, не должен был слышать ни единого ее всхлипа.

– Эмилька, – впервые в жизни я назвал ее так, как обычно – хотя имя это не вязалось со всем ее обликом – обращался к ней ее убитый брат. Тетка закашлялась и, уже не скрывая своих рыданий, повернулась лицом к стене. Я приблизился к ней, и когда, второй раз в жизни произнеся это легкое, как пух, имя, осторожно погладил ее хрупкое, птичье плечо, она медленно обернулась и, еще шмыгая носом (такая заплаканная, что, казалось, вот сейчас прильнет ко мне), в мгновенье

ока залепила мне пощечину.

III

Утром, как мы и предполагали, снова появились делегаты. Так, во всяком случае, окрестила Тетка мужиков, которые, с тех пор как был выкопан ларь, ежедневно приходили в усадьбу и без лишних слов, монотонно твердя: «И нам кое-что причитается», – добивались дележа воображаемого клада. Представляю, как неуклюже шествовали они по навощенному полу, как садились на уцелевшую после грабежа усадьбы кушетку. Тетка, как никто другой, умела, строго соблюдая видимость вежливости, ясно дать понять, как презирает она тех, кто поселился на усадебной, по ее мнению, земле. Впрочем, к незаконным хозяевам этой самой земли она причисляла всех, попадавшихся ей на глаза во время ее редких поездок через деревню. Всех, без исключения. Порой мне казалось, что даже ксендза Станиславского она подозревает в том, что он урвал частичку неожиданной добычи, которую деревня получила благодаря реформе, а по мнению Тетки, прежде всего благодаря «неизлечимой демократической мании» Молодого Помещика.

Думаю, она не помнила ни лиц, ни имен ближайших соседей. В ее глазах все они были врагами, и им наперекор надо было поднимать из руин престиж усадьбы – преобразовывать в нелепую пародию на бывший барский особняк крохотный Охотничий Домик, уцелевший после артиллерийской

канонады и нашествия обеих армий. Мало сказать уцелевший, полностью сохранились – ни один осколок не повредил их – его псевдомавританские башенки, нелепо соединявшиеся красной черепичной крышей с широкой, на манер скандинавских строений, сводчатой галереей. На диво безобразна была эта причудливо перекрученная глыба белого камня, к тому же с готическими проемами окон, украшенных голубого цвета фрамугами. До того безобразна, что порой, добравшись до убежища Тетки, до резервации, как я его называл, при свете дня, я не мог отделаться от ощущения, что уродство этой с трудом созданной имитации усадьбы – не иначе как божья кара за непреходящую спесь семейства Бачевских. И если мне случалось провести хотя бы день в этих сводчатых комнатах, столь же странных, сколь гнетущих, я старался выйти оттуда через кухонные двери на двор. Вид простых, сбитых из сосновых досок сараев, даже смрад, которым тянуло от потемневшей стены хлева, – все это действовало на меня успокоительно. Утомленный затхлым, сырым воздухом гостиной, я с радостью засыпал под нагретой крышей сарая, в котором Тетка намеревалась открыть ветеринарную лечебницу.

Вот именно – лечебницу. Так же как с презреньем, достойным лучшего применения, она принимала в гостиной редких своих просителей, так и теперь добротой своей, приправленной, как и ее чай, пренебреженьем, она намеревалась оскорблять всех окрестных жителей. Тетка рассчитывала на редкую

– как она не раз утверждала – алчность крестьян. Потому и возник у нее замысел открыть лечебницу для больных животных.

– Ты не понимаешь, – доказывала она, – для них одно важно – животные. Если в деревне заболеет ребенок, они тянут до последнего, только бы расходов не понести. А лошадь, видишь ли, дело другое. Без лошади ни тебе вспахать, ни тебе в город поехать. Вот и пойдут ко мне, ведь я буду меньше брать, чем в городе. А может, и вовсе ничего не возьму, – добавила она, подумав. – Во всяком случае, детей их я лечить не стану. Предпочитаю лошадей.

В этих словах отразилась вся Теткина натура. Не зря о ней говорили: «Людей бачевская помещица ни в грош не ставит. Уж лучше за лошадь сойти». Порой, задумываясь над этой весьма, впрочем, характерной для Бачевских чертой, я приходил к выводу, что и во мне она видит нечто вроде домашней собаки редкой породы. Впрочем, так она относилась ко всем, кто сумел завоевать ее расположение. И если бы не трагическая смерть (в которой отчасти повинно ее упрямство) единственного на свете человека, к которому она относилась так, как того заслуживает человек, и не вызванное этим безумие, эти черты характера были бы не более чем чудачеством старой девы, свойственным ей пороком. Но смерть Молодого Помещика наполнила Тетку, пожалуй, неведомой ей раньше ненавистью к людям. Раньше она не замечала людей – теперь она вредила им. А поскольку ненависть эта, возникшая по

другим причинам, соединилась в ее уме с убеждением, что семейству Бачевских нанесен ущерб, а также с жадностью – она всегда отличалась жадностью – и с ужасом перед реформой, тоже связанной с трагической смертью брата, то она и решила во имя этой ненависти сохранить «усадьбу».

«Усадьбу» в том виде, как она себе ее представляла. Потому что ощущая связанное с именем Бачевских право на власть, она распространяла это право на умы «окрестных крестьян». Более того, эта «моральная власть» казалась ей самой важной. Имущественное превосходство было лишь придатком, чем-то само собой разумеющимся. Впрочем, это не помешало ей ради такого превосходства решиться на недостойную бачевской барыни борьбу за каждый клочок земли. И занять позицию, которую ксендз Станиславский метко определил странно звучавшим в его устах прозвищем «кулачка».

– Да, да, мой милый, – кулачка, – повторил он, при виде моего изумления. – Большевики в бога не веруют, и это, между прочим, очень мешает им проводить в жизнь коммунистические принципы, но что касается земных дел – тут они все как надо показывали. Она такая и есть. – Он поднял сжатый кулак. – Вроде бы и человеческая рука, а ничего-то из нее не вырвешь… Отсохнет, а куска никому не подаст, – добавил он чуть погодя.

Взгляды священника на проблемы небесного коммунизма, которые он при случае излагал, подкрепляя свои тези-

сы обильными цитатами из Нового завета, не будили во мне особого энтузиазма. Однако то, что он сказал о Тетке, никак нельзя было назвать старческим маразмом; даже когда его суждение о характере бачевской помещицы стало основой всех его воскресных проповедей о человечности. Опершись на вытертую грубой сутаной доску амвона, он почти на каждой обедне внушал прихожанам, что святой Иосиф заботился не только о себе, но искусство плотничьего своего ремесла употреблял на благо соседей. Так и Длился этот спор. Иосиф совершал все более утонченные акты милосердия, а его бачевская антагонистка только и думала об удовлетворении своих низменных, гордыней продиктованных желаний.

– Но не полагайте, дети мои, – вещал ксендз, – что каждое благодеяние есть акт праведный. Порой – это я говорю вам – за видимостью милосердия, под его покровом скрывается дьявольское зловоние спеси. Те, что готовы даже помочь ближнему, в ожесточении своем нередко творят это во зло человеку, дабы еще более унизить его. По плодам их узнаете их! – выкрикивал он обычно в завершение своих доводов.

Все это, конечно же, было направлено против Тетки и ее ветеринарной лечебницы. И кто знает, то ли благодаря этим проповедям, то ли по другим каким причинам, специально выстроенный сарай, где должны были проводиться всякие несложные операции, пока что пустовал. Узнав о проповедях – сама она потому и не ходила к обедне, что служил их ксендз Станиславский, – Тетка настолько продвинулась в

своем стремлении воссоздать особую атмосферу, при которой «все вертится вокруг усадьбы, как вокруг солнца», что сама стала зазывать всех встречных и поперечных в Охотничий Домик. Местные жители, – насколько я мог судить по Теткиным, напоминавшим дневник, письмам, которые она регулярно высылала на мой городской адрес, – спокойно выслушивали ее, даже тревожились за состояние – угрожающее, – как уверяла Тетка, своей лошади или коровы и предпочитали отправляться в город. В первые месяцы существования сарая сюда привели не более трех животных. А потом и вовсе перестали ходить. Думаю, в основном – по причине скандала, как бы венчающего пророчества священника, громкого скандала, который разразился между Теткой и неизвестным мне владельцем некоей заморенной клячи.

– Приезжай немедленно, предстанешь в суде, – с обычной своей лаконичностью протелеграфировала Тетка, и я стал одним из свидетелей этого, сделавшего ее посмешищем, процесса об отравлении лошади. Впрочем, выиграть процесс было невозможно. Хорошо еще, что мне удалось добиться полюбовной сделки. Тетка же, разумеется, сочла дело проигранным по причине моей врожденной тупости, но, к счастью, согласилась вернуть сумму, в какую после долгих торгов оценили эту клячу, преобразившуюся вдруг в лихого скакуна.

– Это же разбой, – уверяла она. – Только ихняя революция могла довести до того, чтобы я, разбирающаяся в лоша-

дях куда лучше, чем целый табун этих, с позволения сказать, судей, платила за попытку спасти несчастную.

– Надо было отослать его домой вместе с этой горемыкой. Пусть бы шел себе к ветеринару, – ворчал я. – Зачем понадобилось силой отбирать у него больную клячу?

– А как я должна была поступить, если он не верил, что это последняя надежда на спасение? – возразила Тетка.

Ну конечно же, по ее понятиям, а она осталась им верна, надлежало тут же – после слабой попытки подействовать уговорами – схватить висевшую на стене сарая плеть и, свирепо размахивая ею, шугануть вопящего хозяина клячи с усадебного двора. И кто мог предвидеть? Вместо того чтобы явиться назавтра с повиной и признать правоту помещицы (кстати, тогда она, возможно, дала бы ему часть денег на покупку другой лошади), крестьянин, отчаянно ругаясь, помчался на ближайший милицейский пост.

И ладно бы еще милиционеры пришли тотчас же. Увы, сержант, заявивший Тетке, нервно дергая шеей в тесном воротничке, чтобы она «вернула чужое имущество», смог всего лишь зарегистрировать причины смерти клячи, слишком уже хворой, чтобы выдержать какие бы то ни было, даже самые нужные процедуры.

Итак, сарай пустовал, а напряженные отношения между усадьбой и приходом, – Тетка, объясняя свою неприязнь к этому «сумасшедшему демократу в сутане», всегда вспоминала венчанье моей сестры и Молодого Помещика, – теперь

можно было с полным правом назвать враждебными.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.